

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ?

Первый вопрос: зачем писать?

Я уже пыталась, даже писала, потом все уничтожила. Глупо. Аванс пришлось вернуть.

Очень трудно говорить о себе, даже в воспоминаниях. Плохо не хочется, хорошо стыдно. Пусть уж лучше другие.

Но недавно услышала, что вполне приличное по меркам порядочности общество весь вечер развлекалось, вспоминая мои «перлы», наперебой рассказывая разные анекдоты из моей жизни, восторгаясь острым языком и нелюбезными выражениями. И стало вдруг страшно. Я старая, по-настоящему старая, жизнь прожита, меня не будет, что останется, чем запомнят? Мулей? «Пионэры, идите в ж...пу»?

А ведь были десятки сыгранных и несыгранных ролей, дружба, работа и просто встречи с такими замечательными, гениальными людьми, были, наконец, тысячи умных мыслей и достойных желаний...

Я такая старая, что пережила не только тех, с кого должна бы брать пример, но и тех, кому должна его подавать.



Хотя брать хороший пример можно и нужно в любом возрасте и с людей любого возраста.

Очень не хочется остаться в памяти только злым языком, анекдотами и бытовым кретинизмом. Что есть, того не отменишь, но, кроме острого языка, есть еще не такие уж злые мысли, как с ними быть?

Задумалась и поняла, что если уж писать воспоминания, то не о том, как жила и с кем из великих и просто интересных людей встречалась, а что думала, чувствовала, что мне эти встречи дали. Почему моя судьба сложилась счастливо и столь несчастно одновременно, почему столько несыгранных ролей, почему всю жизнь одиночество?

Мне грешно жаловаться на недостаток признания и славы, но не то, все не то... Могла одно — сделала другое, ценила одни роли — награждали и любили за другие, по улице из-за узнавания и популярности шагу не ступить, а дома и слова за целый день можно не услышать... Только собачьи глаза моего Мальчика...

Почему?

У меня есть слова о том, что хватило ума глупо прожить свою жизнь. Глупо ли? А как надо умно?

Судьба дала мне главное, о чем я так просила, — сцену и талант играть на ней. В качестве оплаты забрала все остальное, оставив одинокой, никому не нужной старухой уже много-много лет назад.

Я больше не успела, чем успела, не сделала, чем сделала, а вот понять успела в жизни многое. Чужой опыт никогда никого не учил, не только дураки учатся на своих ошибках, умники тоже, но если мой опыт ничему не научит, то хотя бы наведет на умные мысли? Ошибки и глупые поступки тоже способны дать пищу к размышлению.



Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой

А если таковую дадут еще и мои мысли, то, пожалуй, хоть кто-то, пробежавший глазами мои записи, вспомнит, что у Раневской были не только «Муля» и «ж...па».

Если скажешь правильно, вовсе не значит, что тебя правильно поймут. Что лучше — не высказываться совсем или на каждом шагу объяснять, что именно ты хотел сказать?



ДЕТСТВО. В СЕМЬЕ БЕЗ СЕМЬИ

Татьяне Тэсс благодарные читатели чего только не присылали! Помимо подарков, часто нелепых, и писем мешками, были перлы собственного сочинения. Грешно смеяться, но один запомнился:

Я родился в Москве.
Родила меня мать...

Невольно родилось продолжение:

...Тетке некогда было в ту пору рожать...

Так вот, меня тоже родила мать, о занятости своих теток ничего сказать не могу, не знаю.

Но родила не в Москве, а в Таганроге. Замечательный город, к тому же быть землячкой Чехова почетно. Моей заслуги в том нет и вины тоже, родители постарались.

В попытке написать биографию я дальше фразы: «Мой отец был небогатым нефтепромышленником...» — далеко не ушла. Это правда, у Гирши Хаимовича Фельдмана имелись некие активы в недвижимости и нефтедобыче, фабри-



ка сухих красок, небольшой пароход «Святой Николай», большой дом и даже собственный дворник, что восхищало меня куда больше парохода. Пароход что... вот дворник — это да!

Кстати, «Святой Николай» даже имел некоторое отношение к большой, даже великой литературе — на нем путешествовал по Черному морю Лев Николаевич Толстой. На меня это не производило ни малейшего впечатления, куда колоритней какого-то Толстого казался дворник с его медалью за мужество.

Мечтала иметь такую же, совершив какой-нибудь героический поступок! Поступки не подворачивались, никто на моих глазах не тонул, не выпрыгивал из горящих домов, лошади не несли, опрокидывая повозки, в Таганроге не случилось ничего, за что пятилетняя девочка могла бы обрести заслуженную награду. А как хотелось...

Дворник был неистощимым кладезем запретных выражений и предметом для подражания, что не могло нравиться моим родителям.

Моя «жизнь в искусстве» началась года в четыре (раньше просто не помню). Дворник так колоритно ругался!.. А еще мне очень нравилось, как кричали продавец мороженого и нищенка, просившая милостыню. Я пыталась подражать: «цыкала» сквозь зубы, материлась, зазывала: «Сахарна морожена!..» — и просила копеечку «Христа ради».

Сначала родители смеялись, потому что шамкающая старуха в изображении четырехлетнего ребенка явно была уморительной, потом смех поутих. И все же первые годы мне не мешали, но только первые. Среди игрушек, что часто бывало в те времена, оказался набор для спектакля «Петрушка». Небольшая ширма, простые куклы стали моей отрадой



и моим домашним триумфом. Разыгрывать спектакль, а потом выходить из-за ширмы и степенно кланяться...

Очень трудно не стать такой, какой тебя хотят видеть, а если это видение еще и не совпадает с твоим внутренним миром, борьба становится смертельной.

Семья обеспеченная и, как полагалось старосте синагоги, весьма строгая. Отец казался деспотом, за любую провинность следовало наказание, иногда даже порка. За леность или нежелание подчиняться правилам особенно. Может, отсюда у меня это самое нежелание подчиняться правилам?

Отца боялась, а потому не любила. Мать, очень впечатлительную, даже несколько экзальтированную, обожала, к сожалению, безответно.

Нас в семье четверо детей — Белла, Яков, я и Лазарь. Мне было лет пять, когда Лазарь умер, это страшное горе я помню, хотя тогда едва ли сознавала, что произошло в действительности.

Белла, хорошенькая и общительная, была умницей и папиной надеждой. Яков наследником и тоже надеждой. Я не была никем. Некрасивая, заикающаяся, вечно погруженная в фантазии или кого-то передразнивающая, но главное, неспособная к обучению.

О... этот штамп на мне поставили в первый же год в гимназии. Я фантазировала, фантазии принимали за вранье, не была способна подолгу слушать нудные речи учительниц — считалось, что это лень. Дети смеялись над заиканием, в ответ я замыкалась — говорили, что бездарь, неспособная что-то запомнить.



Только и умела кривляться, все остальное недоступно. Некрасивая дурочка-кривляка, кто же будет любить такую дочь?

Меня не любили. У меня была семья, но ее не было. В жизни великих бывало, когда материнскую и отцовскую ласку и внимание заменяло внимание нянек или гувернанток, иногда это даже приводило к изумительным результатам. Не Надежда Осиповна, а Арина Родионовна рассказывала Пушкину сказки. У меня не было Арины Родионовны, бонн своих просто ненавидела, причем взаимно. Мечтала, чтобы, катаясь на коньках, бонна-немка упала и расшиблась насмерть. Но она каждый раз возвращалась даже без синяков.

Когда озвучивала фрекен Бокк через много десятилетий, вспоминала не столько саму немку, сколько свою ненависть к ней.

Когда ребенку не к кому прислониться, даже в семье нет плеча, в которое можно уткнуться, он вырастает либо преступником, либо исключительно замкнутой и одинокой личностью.

Замкнутой я быть не могла, актерство не предусматривает ни стеснительности, ни робости, а оно родилось вместе со мной. Оставалось одиночество.

Одиночество взрослого, прожившего жизнь, страшно, но объяснимо, оно может вытекать из этой самой жизни, быть следствием его собственных ошибок и эгоизма.

Одиночество ребенка в тысячу раз страшней одиночества взрослого человека. Дети не должны быть одиноки, иначе они никогда не будут счастливы в жизни.

Я не обвиняю родителей ни в чем, жили, как могли и считали правильным, но именно детское одиночество в се-



мье предопределило отсутствие семьи у меня потом. Вокруг меня много людей, но после смерти Павлы Леонтьевны Вульф, которая заменила мне мать во взрослой уже жизни, я осталась одна, совсем одна, а сейчас, когда пережила уже почти всех, кому интересна моя жизнь, моя внутренняя жизнь (рядом только Нина Сухоцкая), особенно одиноко. Одна в толпе – это еще тяжелей, чем зрителем на маяке на далеком острове.

Я чувствовала, даже понимала, что меня не любят, удивительно, но воспринимала это как данность, не пыталась стать такой, какой требовалось, заискивать или добиваться любви. Просто знала, что не любят. Что лучше: быть странной, потому что не как все, или одинаковой со всеми?

Имя Фаина (по-еврейски Фейга, значит, «птица») мне дал отец. Надеялся, что я полечу. Полетела, да только не туда, куда он желал. Отец считал мою страсть к актерству и выступлениям блажью, если не дурью, и очень расстраивался из-за откровенных неудач в гимназии.

Это очень и очень трудно – ежедневно видеть, что ты не соответствуешь ожиданиям, особенно когда старшая сестра им соответствует в полной мере. Белла умница и красавица, Фаина – некрасивая бездарь (желание кривляться способностями не считалось, скорее наоборот – почти позором).

– Пожалейте человека, заберите из гимназии!

Гимназия была не просто повинностью, а самым ненавистным местом на земле. Училась плохо, потому что вычислять выгоду купцов, которые покупали товар по одной цене, а продавали по другой, казалось почти преступлени-



ем. Выгода меня не интересовала никогда, а в детстве особенно.

Читать, читать и читать! Запоем, все, что подворачивалось под руку, рыдать, если героев обижали, а потом получать выволочки или вообще розги за эти слезы. Я рано осознала, что впечатлительность наказуема, как и внешние проявления душевных переживаний. Замкнуться в себе? Но я предпочитала лучше терпеть порку или долгое стояние в углу, но снова и снова рыдать над судьбами героев.

К сожалению, книги дочитывались не всегда, вовсе не по моей вине, просто частью наказания «за дурь» было лишение той самой книги, что вызвала слезы. Позже я все это перечитала и снова поплакала.

Сейчас подумалось, что это даже помогло мне полюбить хорошую литературу. Человеку всегда хочется того, что нельзя, и ценит он больше запретное, особенно в детстве.

Удивительно, что моя впечатлительность и способность рыдать от одного слова не добавляли материнской любви, а ведь Милка Рафаиловна особа весьма экзальтированная, способная безутешно рыдать от известия о смерти Чехова. Сама такая, а во мне этого не терпела, вернее, старалась не замечать меня.

Для отца я была просто бездарной лентяйкой.

Из гимназии меня после моих рыданий забрали, зато пригласили домашних гувернанток для обучения. Что изменилось? Только дети перестали дразнить из-за заикания, поступки алчных купцов понятней не стали, арифметика категорически не давалась, как и география. Представить себе, как далеко находится Париж или Швейцария, куда мы каж-



дый год отправлялись летом, как выглядит на карте «итальянский сапожок», где так красиво, я была не в состоянии.

Почему нужно запоминать, как это выглядит на карте, я лучше покажу, как работает веслом гондольер или корчит рожицы мальчишка в Париже.

Заикание тоже никуда не делось, оно осталось со мной до конца жизни, хотя я научилась делать этот дефект незаметным.

Заикание бывает разным, иной человек не может «взять» первую согласную, особенно твердую. Тогда общение превращается в сущее мучение и для того, кто говорит, и для того, кто слушает. «П-п-п...» — и гадай, что хочет сказать, то ли «привет», то ли «пошел!».

У меня иное, я всегда «тормозила» на гласных, скажу не «п-п-п...», а «па-а-жалуйста». Это легче переносить и скрыть тоже. Заикание похоже на вздох или зевок не к месту, хотя тоже мешает.

У сестры были гимназические приятели, один из которых, на мой тогдашний взгляд, гениально читал стихи. Гениально для меня тогда означало, что от избытка чувств он завывал, размахивал руками и даже с криком рвал на себе волосы. Вот это искусство! Вот это страсти! Шекспиру не снилось такое исполнение, хотя юнец читал вовсе не «Отелло» или «Гамлета», а «Белое покрывало» Морица Гартмана.

Произведение хорошее, но к чему в нем было рвать волосы, топтать ногами или биться головой о подлокотник кресла... уж и не знаю. Но это впечатляло, тем более такую экзальтированную дурочку, как я.



Оставалось только вздыхать, потому что за собственные завывания и крики я получала вместо аплодисментов выволочки.

Провинциальные города России начала двадцатого века — это особый культурный мир, он еще весь насквозь пропитан веком девятнадцатым. Многие города России имели великолепные театральные труппы, достойные лучших подмостков мира. У тихого, как его называл Чехов, пустого Таганрога был свой театрик, на спектаклях которого я проливала слезы.

А еще была любовь к музыке. В каждом приличном доме пианино, пусть расстроенное, на котором дети брэнчали обязательный бравурный репертуар, но были и весьма серьезно музицирующие.

По выходным вчерашние серьезные деловые люди могли собраться, чтобы поиграть дуэтом или квартетом. Помню великолепный концерт Скрябина, именно он окунул мою душу в музыку. Настоящую музыку, где не нужно завывать или заламывать руки, чтобы выразить свои чувства.

А вот опера меня пугала. Ну как можно вонзать кому-то в грудь кинжал и петь при этом?! Это неправильно, это фальшиво...

Я не раз говорила, что мое детство закончилось в тот день, когда я увидела маму, рыдающую над сообщением о смерти Чехова, и под впечатлением этих слез прочитала наугад его «Скучную историю». Было мне лет девять. Откровенное горе мамы меня потрясло, я поняла, что в жизни

